Исаак БАБЕЛЬ: «ЛЮБЯЩИЙ ВСЕМ»

Особенность переписки Исаака Бабеля с Тамарой Кашириной состоит в том, что письма Бабеля (вернее, всё его эпистолярное наследие на эту тему, в котором имеют значение и записки, и телеграммы,— общим числом около двухсот) сохранились полностью, письма же адресатки пропали, как пропал и архив Бабеля.

Адресатка жива и предлагает читателям несколько писем с ее комментариями. Полностью письма и повесть о тех днях и о себе самой того времени публикуются в журнале «Октябрь» в 1992 году. Это не только история любви, сложных взаимоотношений двух людей, но еще и часть внутренней жизни знаменитого писателя, его напряженная творческая работа, отраженная в письмах.

Также совместно с Евгением Пережилевым, соавтором по книге «Жизнь и книги знаменитого факира Бен-Али-Бея», посвященной Вс. Иванову и зависшей в небытии из-за издательского безвременья, подготовлена уникальная книга «Исаак Бабель. Три года», где собрано все, написанное Исааком Эммануиловичем в период с 1925 по 1928 год (а большую часть из сохранившегося рукописного наследия этих лет и составляют письма Бабеля), прокомментировано, научно подготовлено. Пьеса «Закат», например, дана не в каноническом виде, а с теми дополнениями, которые впоследствии автор снял и которые никто, кроме держательницы архива, не видел. Книга ждет своего издателя, а один из малых фрагментов этой книги перед вами.

Перечитывая эпистолярное наследие Бабеля, я испытываю неимоверную жалость, переходящую в отчаяние. Как тяжко ему приходилось и тогда, когда он писал эти письма, как тяжко и читать их мне теперь, потому что невозможно не держать в уме и сердце развязки его судьбы, да и незнакомому с подтекстом все равно невозможно, по-моему, не испытать сострадания к талантливейшему, столь жестоко погубленному человеку.

Во время переписки я тоже постоянно испытывала к нему чувство сострадания, и чем сильнее я его жалела, тем больше «затягивала петлю на его шее», на его и без того непереносимо запутанной жизни, имевшей столь трагический конец — тюрьма, лагерь. И точно даже неизвестно, где и когда он скончался.

Отношения наши менялись. В конце переписка приняла совсем невразумительный характер. Его письма никак не совпадали с моими ответами потому, вероятно, что он не обращал внимания на ход событий, а я отвечала по ходу переписки и отраженной в ней реальной своей жизни.

Он, например, просит меня посещать репетиции «Заката», а для меня это уже невозможно. Ведь я давно известила Бабеля о возникновении у меня любви со Всеволодом Ивановым, которого мое посещение репетиций спектакля смертельно оскорбило бы, потому что он не мог сдержать своей ревности. Одно дел-, помочь отправить деньги, в этом Всеволод мне даже помогал, а вот продолжать соучаствовать в творческом процессе — этого он не перенес бы.

Ведь «Закат» писался в «мое время» (у меня хранится до сих пор рукописный экземпляр с рукописной же правкой Бабеля, с него я диктовала пьесу машинистке).

Бабель сам рассказал в 1937 году на творческом вечере в Союзе писателей: «Вначале, когда я писал рассказы, то у меня была такая «техника»: я очень долго соображал про себя, и когда начинал писать, знал рассказ наизусть. Он у меня был выношен настолько, что сразу выливался. Я мог ходить три месяца и написать потом пол-листа в три-четыре часа, почти без всяких помарок».

В период нашей с ним дружбы он допускал меня в его «святая святых» — работал при мне, даже советуясь со мной. Поэтому «Закат» до какой-то степени и мое детище. И при этом он еще уверял меня, что такого никогда в его жизни не бывало, потому что до меня работать он всегда мог только «в тишине и тайне».

Бабель, игнорируя мои письма, продолжал писать мне так, как будто бы я все еще продолжаю быть неразрывно связанной с ним. Если бы я тогда приняла от Бабеля какие-то деньги или вещи, то этого ни Всеволод, ни я сама уже вообще бы не могли перенести.

Поэтому переписка в конце концов не могла не оборваться, так как я должна была сделать выбор между сочувствием и состраданием к нищете Бабеля в буквальном и переносном смысле или настоящей любовью к Всеволоду, который стал «человеком моей жизни». И этим все сказано.

А теперь, зная все это, вернемся в самое начало, в 1925 год.

◇

Находясь в состоянии крайнего нервного возбуждения и напряжения, я ушла из Театра имени Мейерхольда, чего с любой точки зрения, а в особенности принимая во внимание возникновение моих отношений с Бабелем,— я ни в коем случае не должна была делать.

Я ждала Исаака Эммануиловича из Киева освободившейся от всех обязательств и готовой следовать за ним «на край света».

Приехав, Бабель не нашел меня ни в театре, ни в клубах, в которых занятия на летний период прекратились, и прислал мне домой с кем-то из своих приятелей, не помню, с кем именно, следующую записку.

● *Исаак Бабель.*

Записка из Москвы — в Москву

май 1925 г.

Я приехал вчера в пятом часу и безуспешно разыскивал вас до 11 ч. ночи. Приятельница ваша, актриса Ксения (фамилии не помню)* сказала мне, что в местах, где вы обычно бывали, т. е. в театре и в клубе, найти вас невозможно. Поэтому я решился на дерзновенный шаг и посылаю записку. Когда мы с вами увидимся, придете ли в Обухов или мы увидимся днем.

Б.

Исаак Эммануилович был верен себе — соблюдал «таинственность» и ждал ответа на свою записку, стоя за углом, на улице.

Я, разумеется, тут же к нему выбежала. Мы пошли в близлежащий парк Института физической культуры, что на Гороховской улице.

Исаак Эммануилович был буквально потрясен моим «освобожденнем» ото всего и ото всех.

Ни о чем подобном он и не помышлял. Был по уши погружен в хлопоты по отправке за границу жены, ее семьи, своей матери.

Он совсем растерялся от моей «освобожденности» и «готовности».

Но я этого умудрилась не заметить.

В тот период он был сильно в меня влюблен и у нас перепадали вполне счастливые дни, когда мы уезжали куда-нибудь за город (тем временем наступило лето) и проводили время вдвоем — на лоне природы.

Опять всплыли лошади, и Исаак Эммануилович изо всех сил старался приохотить меня к посещению бегов.

Во время одного из таких посещений, смертельно скучая (меня бега никак не интересовали), я пошла со скуки в буфет, съела там невинное пирожное и не на шутку им отравилась.

Болела я довольно долго, с высокой температурой и прочими неприятностями, которые обычно сопутствуют отравлению.

Тут Исаак Эммануилович впервые переступил мой порог и, очень напуганный моей болезнью, стал уговаривать меня уехать куда-нибудь отдохнуть, обещая, что «немедленно, вот только закончит...», ко мне присоединится.

Мой первый муж Николай Васильевич Неврев тоже уговаривал меня «проехаться», взяв с собой дочь Таню, и тоже предлагал приехать следом, если я этого захочу.

Я выбрала Сочи, вернее, домик под Сочи, где я уже жила однажды в сливовом саду, на самом берегу моря.

Приехала я с Таней и сестрой Зиной.

Исаак Эммануилович опять писал мне, но уже не каждый день, и опять в его письмах я вычитывала только то, что было мне созвучно, как-то умудряясь не замечать остального.

Он все еще был влюблен в меня, но уже не до безумия, уже начинал, по-видимому, остывать.

Тут бы мне самое время пообижаться, посердиться. Словом, настала пора «поиграть» чувствами.

Но я этого не умела и, напротив, выражала полную готовность «жертвовать собой».

В письмах ко мне Бабеля сквозило все больше литературщины, а я ее не замечала, хотя, в других случаях, была очень чувствительна к любой, самомалейшей фальши.

Собственно, с этого момента и установился стиль наших взаимоотношений, длившийся до самого их конца.

Началось мое вечное ожидание его приезда ко мне или исполнения его невыполнимых и никогда неисполнявшихся обещаний.

Исаак Эммануилович не только не приехал, как обещал, ко мне в Сочи, но, наоборот, вызвал меня на Хреновский конный завод, куда я и поехала к нему.

Привожу письма Бабеля ко мне из Москвы в Сочи.

Из Сергиево — в Сочи

14/VI—1925 г.

Милая Татушенька. В жизни моей по сравнению с прошлым, если не считать чувства пустоты и одиночества, вызванного вашим отъездом, мало нового. Я приехал в Сергиево вчера, в субботу, и рассчитываю пробыть здесь долго. Единственное дело, привязывающее меня к Москве—хлопоты о французской визе **, — находится, по моему убеждению, в благополучном состоянии. А другое дело — получение от вас писем; я буду ездить за ними два раза в неделю. Напоминаю адрес: 34 почтовое отделение, уг. Пречистенки и Дурнова переулка до востребования. В Москву до востребования лучше писать, чем в Сергиево, п. ч. сюда письма идут очень плохо.— В пятницу, т. е. на следующий после вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он вправду, очень болен, но о болезни не хочет говорить, пьет горькую, пьет с необыкновенной жадностью, он совсем обезумел. Я не знаю — его конец близок ли — далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные. Одно из этих стихотворений я переписал и посылаю вам. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок, может быть, прощальная эта Сережина песня ударит вас в сердце так же, как и меня. Я все хожу здесь по роще и шепчу ее. А любовь — калинушка... Нынче весь день работал с остервенением, теперь, когда я пишу вам, идет второй час ночи, и так как я спал сегодня два часа после обеда, то можно посидеть до света. Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с третьей придется повозиться, п. ч. нужно добыть документы о гражданской войне этого периода, но и это не особенно трудно. Только бы проклятая виза не задержалась, тогда все можно будет скоро уладить. На кинофабрику я не хожу и не пойду до того времени, пока не буду иметь на руках какого-нибудь товара. Оттуда несутся вопли и проклятья по моему адресу. Теперь о вас, душенька моя Таратута. Где вы, что с вами, как вам живется? Мне надо об этом знать подробно. Я вспоминаю последний ваш ужасный месяц, это не должно повториться. На моей короткой памяти вы разительно изменились и ослабели здоровьем. За что нам от Господа Бога такое испытание? Это я пишу к тому, что ежели вы в Сочи не наберетесь духа, тела и прочих составных частей беспечального человеческого существования — то я очертя голову поступлю в партию и займусь рабкоровским движением или, что еще ужаснее, стану театральным реформатором, как Лойтер. И тогда вам в жизни не останется никакого ходу. А то что же это такое—была король-баба, в нее, в король-бабу, на одном Разгуляе были влюблены три человека и все три с солидным положением, а в других окраинных местностях столицы еще двенадцать человек, и это не считая эпизодов вроде роты курсантов, трамвайных калек и ночных извозчиков. От имени многочисленных этих страдальцев я протестую, товарищ Таратута. Красная Армия, советские служащие, одинокие калеки и лица свободных профессий требуют, чтобы вы снова стали король-баба, потому что какая же нам без вас сласть в этой жизни, где идеологии стало больше, чем кислороду!..

До свидания, Татушенька, любимый друг. Не купайтесь подолгу, в слабом состоянии это вредно. Как чувствуют себя Зинаида Владимировна и Татьяна? Есть ли у вас постели, самовар, умывальник? Какую рыбу вы едите и жирны ли бараны в нынешнем году? Вам надо спать 12 часов в день, а выспавшись, писать мне письма. Это будет достойное существование.

Любящий вас всем сердцем

И. Б.

Сергиево 14/VI — 25.

Песня

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.
Жила — забубенная, жила — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.
Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.
Как случилось, сталось, сам не понимаю.
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.
Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.
В темноте мне кажется — обнимаю милую.
За окном гармоника, и сиянье месяца,
Только знаю — милая никогда не встретится.
Эх, любовь-калинушка, кровь-заря вишневая.
Как гитара старая и как песня новая.
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками!
Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.
Я отцвел не знаю где. В пьянстве, что ли?
В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.
Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.
Жила — забубенная, жила — ножевая,
А теперь вдруг свесилась словно неживая.

С. Есенин

Из Сергиево — в Сочи

16/VI — 1925 г.

Татушенька, как вы поживаете? Понравилась ли вам книга Алексея Толстого? Какая погода в Сочи? У нас беда. Дождь, холод, ветер, деревья шумят яростно. Иногда показывается плюгавое солнце и сейчас же застилается ливнем, мглою, как на сцене. Один только раз было солнце и дождь, летний, щедрый, горячий дождь, очень красиво.

Как вы доехали до Сочи? Езда, небось, скучная. Море-то, наверное, оказало на Татьяну сильное впечатление. Заведите Татьяне собачку. Дети очень любят купать собак.

Мы с Воронским живем дружно. Он все пишет про литературу. Жена его, потешное существо, сущее наказание для просвещенного коммуниста. Жена — еврейка, мещанка худшего толка, ссорится с прислугой, а

* К. И. Гольцева.

** Для жены И. Э. — Евгении Борисовны.